

Последний звонок Пилата

Известно, что политика — это искусство возможного. “А объем моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как все на свете!” — кричал всесильный римский вельможа Понтий Пилат нищему бродяге Иешуа Га-Ноцри. Эту важную сцену романа “Мастер и Маргарита” Михаил Афанасьевич Булгаков написал в конце жизни и в последней редакции эти слова вычеркнул. Почему он это сделал — понятно: ассоциация с живым советским диктатором была слишком прозрачной, а взаимоотношения писателя с ним были, как известно, весьма неоднозначны. К сожалению, в нашем булгаковедении эти отношения (Сталин — Булгаков) часто вольно или невольно упрощают, представляя драматурга исключительно жертвой бесчеловечной тирании. Сталин, мол, играл с автором “Дней Турбиных” как кот с мышью, а Булгаков всю жизнь проклинал эту сталинскую мышеловку и уж, конечно, не мог любить того, по чьей верховной милости он в ней очутился. Благодаря дружным усилиям булгаковедов этот миф прочно вошел и в сознание массового читателя.

Под колпаком ГПУ

Да, секрет бесчеловечного механизма тоталитарной власти Булгаков познал на собственном опыте уже в самом начале писательского пути.

26 сентября 1926 года Булгаков был вызван в ОГПУ и допрошен следователем К. Г. Гендиным. В архиве бывшего КГБ сохранились собственноручные показания писателя, и в них есть удивительная фраза: “Советский строй считаю исключительно прочным”. Нет, это не было вынужденным признанием боящегося за свою жизнь человека, а осозанным, выношенным убеждением. И это несмотря на то, что киевский врач Булгаков еще в 1919 году увидел, какими методами ут-вердившаяся в его родном городе коммунистическая власть этой прочности добивается. Один только латыш М. Лацис, председатель Киевской ЧК, приказал расстрелять более 12 тысяч человек.

После изгнания большевиков в газете “Киевское эхо” появилась серия статей, где по воспоминаниям жертв и очевидцев рассказывалось о массовых расстрелах в подвалах ЧК. Там говорилось: “В “работе” чекистов поражает не только присущая им рафинированная утонченно-садическая жестокость. Поражает всеобщая и исключительная бесцеремонность в обращении с живым человеческим материалом. В глазах запленных дел мастеров из ЧК не было ничего дешевле человеческой жизни”.

Статьи в “Киевском эхо” подписаны инициалами “Мих. Б.” Даже если писал это и не Булгаков, то уж во всяком случае статьи о “работе” ЧК он внимательно читал.

Бывший военврач деникинской армии и журналист белогвардейских газет Булгаков был самой своей судьбой обречен на гибель и знал это. Его долгий опасный “бег” с Северного Кавказа через всю Россию в Москву — попытка спастись, раствориться в огромном чужом городе.

Но здесь его уже ждали. Деться от вездесущего “недреманного ока” ОГПУ было некуда. Булгаков был журналистом и писателем, хотел печататься и пришел в московскую редакцию берлинской газеты эмигрантов-сменовеховцев “Накануне” и частный журнал И. Г. Лежнева “Россия”. Он не знал, что сменовеховцы давно финансировались Политбюро и ОГПУ как “наши агенты”.

Булгаков простодушно печатался в популярном “Накануне”, получал неплохие гонорары, но нарастало чувство беспокойства: “Как заноза сидит все это сменовеховство (я при чем?)”. Очень даже при чем, гражданин Булгаков...

В 1926 году эта сложная операция Политбюро — ОГПУ была в основном завершена, списки оппозиции составлены. Сменовеховцы и Лежнев свое дело сделали, пришло время их убрать. 5 мая Политбюро приняло решение закрыть издательство “Новая Россия”, запретить всю деятельность сменовеховцев, произвести у них обыски, начать аресты и высылку.

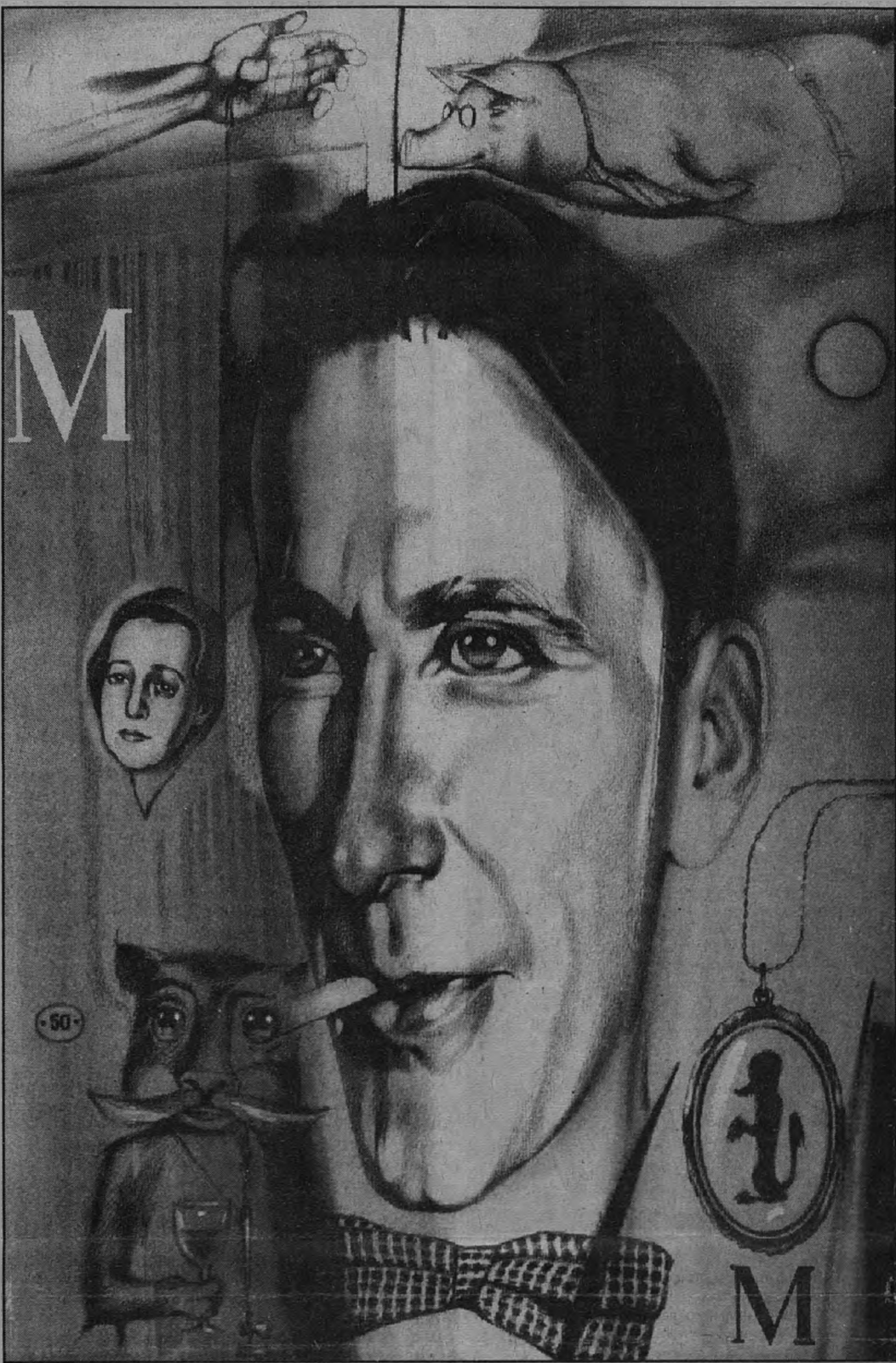
В списке ОГПУ, представленном в Политбюро Генрихом Ягодой, под седьмым номером значится литератор М. Булгаков. Но как ни странно, ареста не последовало. Почему?

Спасибо товарищу Сталину

Неожиданно отлаженный механизм репрессий дал сбой, и железные пальцы Ягоды разжались. За это время Булгаков успел написать для МХАТа пьесу “Дни Турбиных”, в ее судьбе принял участие великий режиссер К. С. Станиславский, имевший право обращаться прямо к Сталину и другим членам Политбюро.

Вокруг “Дней Турбиных” завязалась вялотекущая номенклатурная борьба. Первые доносчики стали советские писатели и драматурги, спецившие уничтожить талантливого и удачливого конкурента. Драматург Б. С. Ромашов, будущий сосед Булгакова по писательскому дому, во “внутреннем” отзыве (читай — “донос”) говорил о том, что пьеса “идеологически совершенно не выдержана”, и докладывал “наверх”, в “инстанции”: МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами “чеховщины”. Информатор ГПУ доносил о сходном суждении Алексея Толстого: “Дни Турбиных” можно поставить на одну доску с чеховским “Вишневый садом”. На Лубянке это воспринималось не как хвала.

Переживающий творческий кризис МХАТ видел в пьесе Булгакова свое спасение и боролся за нее. 3 октября 1927 года Станиславский умолял в письме члена Политбюро А. И. Рыкова: “Он (театр — В. С.), после запрещения пьесы “Турбины”, очутился в безвыходном положении, не только ма-



В списке ОГПУ, представленном в Политбюро Генрихом Ягодой, под седьмым номером значился Михаил Булгаков. Но как ни странно, ареста не последовало. Почему?

териальном, но и репертуарном. Разрешением “Турбиных” этот вопрос разрешается и материально, и репертуарно”. Секретарь ЦК А. П. Смирнов, готовя соответствующее постановление Политбюро о разрешении булгаковской пьесы, отмечал: “Вещь художественно выдержанная, полезная. Разговоры о какой-то контрреволюционности ее абсолютно неверны”. 10 октября Политбюро постановило: “Отменить немедленно запрет на постановку “Дней Турбиных” в Художественном театре”.

Булгаков ответил на это как и подобает великому драматургу — блестящей сатирической пьесой-памфлетом “Багровый остров”, направленной против Главреперткома, цензуры и прочих директивных инстанций. Его враги увидели себя на сцене и не обрадовались. Когда эта пьеса была поставлена Камерным театром А. Таирова, ее политической смерти сразу возжелали очень многие влиятельные люди и организации. Заместитель заведующего Отделом агитации и пропаганды ЦК П. М. Керженцев письменно предложил коллегии Наркома просить снять спектакль. Однако получил в ответ неожиданное, по чиновничьи ловко сформулированные возражения и отговорки.

Заместитель наркома про-свещения В. Н. Яковлева 5 января 1929 года пишет в ЦК: “Пьеса в окончательном ее виде не дает поводов для снятия ее... Снятие пьесы создало бы нездоровую сенсацию вокруг пьесы и вокруг театра без всяких тому оснований. Вместе с тем Коллегия считает, что пьеса скучна, не художественна и мало понятна широкому зрителю”. Однако рядом с письмом Яковлевой в архиве ЦК лежит перевод статьи М. Фишера из газеты “Дойче Альгемайне Цайтунг”, где, в частности, сказано: “Однако публика, по-видимому, придерживается совершенно другого мнения. Камерный театр Таирова изо дня в день заполняется до последнего места”. Но теперь на экономические аргументы внимания не обращали, и в мае рокового для драматурга Булгакова 1929 года “Багровый остров” был запрещен.

Казалось бы, вот оно —

убедительное свидетельство жесточайшей цензуры “партии и правительства”. Но здесь стоит напомнить, что все пьесы Булгакова, во-первых, были поставлены на сцене, чем другие советские драматурги — современники Михаила Афанасьевича — похвастаться, как правило, не могли. Более того, поставленные пьесы Булгакова стали самыми кассовыми спектаклями советского театра. А самым благодарным зрителем булгаковских пьес был Сталин. Чаще всего вождь смотрел “Дни Турбиных” (более 15 раз), любил ходить и на “Зойкину квартиру” в Вахтанговский театр, видел “Багровый остров”.

“Зойкину квартиру”, конечно же, тоже запрещали, и не раз. И вот Сталин, в очередной раз посмотрев этот трагический фарс, промолвил с присущим ему жестоким лукавством: “Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного не вижу”. Он все видел и понимал.

20 февраля 1928 года Политбюро пришлось снова решать вопрос о булгаковской пьесе. Девятнадцатый пункт повестки дня — “О “Зойкиной квартире””. Он гласит: “Ввиду того, что “Зойкина квартира” является основным источником существования для театра Вахтангова, — разрешить временно снять запрет на ее постановку”.

Кому же Булгаков и вахтанговцы были обязаны этим странным разрешением? Это становится ясно из письма А. Рыкова Сталину: “По твоему предложению мы отменили решение Реперткома о запрещении “Зойкиной квартиры”. За Булгакова заступился Сталин. И это было отнюдь не единственное заступничество вождя.

За короля играла свита

В 1929 году МХАТ принял к постановке пьесу Булгакова “Бег”. Шли репетиции. Хлудова поручили играть Н. Хмелеву, Черутю — Б. Добронравову. Но страсти вокруг пьесы опять накалились, последовало письмо-донос Сталину драматурга Билля-Белоцерковского и известный ответ вождя.

Суть ответа — Булгаков нам нужен.

За подготовку решения о запрещении “Бега” взялся бывший луганский слесарь Клим Ворошилов. Помогал ему более грамотный “литературовед в штатском” П. Керженцев.

На полях отзыва Керженцева сохранились карандашные пометы Сталина. Прочел он и адресованное ему письмом наркома по военным и морским делам Ворошилова, взявшегося судить пьесу и театр: “По вопросу о пьесе Булгакова “Бег” сообщаю, — писал Ворошилов, — что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку этой пьесы в театре”. 30 января 1929 года Политбюро опросом своих членов постановило: “Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре”.

Да, “Бег” был запрещен, и для автора это стало тяжелейшим ударом. Но обратите внимание на разницу между выводом комиссии и решением Политбюро. Она — в одном только слове, но каком — “**политически**”. Словечко, которое в то время автоматически влекло за собой репрессии. В записке Ворошилова оно есть, в решении Политбюро его нет. Вычеркнуть это клеймо политического обвинения мог только один человек в Политбюро, и он это сделал.

О чем же все эти официальные документы говорят? О том, что, подобно Понтию Пилату, Сталин прекрасно понимал всю ограниченность своей, казалось бы, абсолютной, самодержавной власти. И еще о том, что судьба Булгакова могла бы сложиться куда более трагично, если бы среди почитателей его таланта не было бы “кремлевского горца”.

Особенно отчетливо это проявилось в перипетиях закулисной борьбы вокруг “Дней Турбиных”.

На Сталина оказывали давление самые разные силы, ему пришлось в феврале выслушать неожиданное требование делегации украинских писателей снять с репертуара булгаковскую пьесу. В “Правде” появилась разгромная статья все того же Керженцева, положительно становившегося главным “спецом” по Булгакову. И

тут Сталину пришлось обиженное письмо наркома-трибуна Луначарского. Он напомнил вождю, что по предложению Главреперткома коллегия его комиссариата уже запретила “Дни Турбиных”. “Но Вы, Иосиф Виссарионович, лично позвонили мне, предложив снять это запрещение, и даже сделали мне (правда, в мягкой форме) упрек, сказав, что НКПрос должен был предварительно справиться у Политбюро”.

Как видим, Сталин умело защищал пьесу Булгакова и даже на шумной встрече с украинскими писателями спокойно заметил: “Она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов”. И через голлову настырных посетителей ответил красноречивому Луначарскому и его друзьям: “Я не считаю Главрепертком центром художественного творчества”. Однако отчаянный нажим продолжался, и пьеса Булгакова была запрещена.

Но политический спектакль вокруг драматурга продолжался, и его могущественный режиссер позволял себе совершенно неожиданные ходы.

И вот 21 февраля 1932 года в дневнике писателя Ю. Л. Слезкина (он же Ликоспастов из “Театрального романа”) появилась запись: “На просмотре “Страх” <А. Афиногенова> присутствовал Хозяин <Сталин>”. “Страх” ему будто бы не понравился, и в разговоре с представителями театра он заметил: “Вот у вас хорошая пьеса “Дни Турбиных” — почему она не идет?” Ему смущенно ответили, что она запрещена. “Вздор, — возразил он, — хорошая пьеса, ее нужно ставить. Ставьте...” И в десятидневный срок было дано распоряжение восстановить спектакль...”

Отчаянный шаг

Стоит напомнить, как сказались все эти жестокие игры в театре Политбюро на таланте и здоровье драматурга Булгакова. Партийный чиновник А. И. Свидерский, “ведавший” искусством, 30 июля 1929 года писал в ЦК А. Смирнову: “Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безвыходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом”.

Отчаявшийся драматург после гибели всех его пьес отнес в экспедицию ЦК краткое письмо Сталину. Мы знаем обширные булгаковские послания генсеку, но эта новонайденная записка предельно выразительна в своем скупом на слова трагизме:

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставляла сделать это бедность.

Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая.

Средств к спасению у меня не имеется.

Уважающий Вас Михаил Булгаков

5.V.1930

Многие из окружения Булгакова знали об этом письме. Любопытна их оценка происходящего.

Из агентурно-осведомительной сводки 5-го Отд. СООГ-ПУ от 24 мая 1930 года № 61 “...В литературных и интеллигентских кругах очень много разговоров по поводу письма БУЛГАКОВА...”

Необходимо отметить те разговоры, которые идут про СТАЛИНА сейчас в литерат. интеллигентских кругах.

Такое впечатление, словно прорвалась плотина и все вдруг увидели подлинное лицо тов. СТАЛИНА...

Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила БУЛГАКОВА, одного из самых талантливых советских писателей. На травле БУЛГАКОВА делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь СТАЛИН дал им щелчок по носу.

Нужно сказать, что популярность СТАЛИНА приняла почти необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом БУЛГАКОВА...

Но 25 апреля уже состоялось заседание Политбюро, где в протоколе значился шестидесятый первый пункт “О г<ражданине> Булгакове”, что само по себе было беспрецедентно: мало что из писателей (а скорее всего никто) удостоивался персонального обсуждения на заседании высшего партийного аппарата.

Решение Политбюро по этому странному пункту повестки дня было столь же кратко: “Поручить т. Молотову, дать указание т. Кону Ф.” Но главная резолюция уже имеется на большом письме Бул-

гакова правительству СССР, отправленным автором в ОГПУ 2 апреля. Письмо жирно исчеркано карандашом Генриха Ягоды, он же оставил резолюцию: “Надо дать возможность работать, где он хочет. Г. Я. 12 апреля”.

А ведь мы уже знаем мнение Ягоды, знаем, куда он хотел Булгакова отправить еще в 1926 году. И сам он выносить такие “разрешительные” решения не мог. Далее последовал знаменитый телефонный звонок Сталина Булгакову, писателя принял возглавлявший Главискусство Ф. Кон и одобрил его намерение работать в Художественном театре. А там уже печатали договор с Булгаковым как режиссером. Суть этого решения всесильной власти по “делу” великого писателя кратко, но точно выразил секретарь ЦК ВКП(б) А. П. Смирнов в письме Молотову от 3 августа 1929 года: “Литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним поговорить”. Надо ли еще раз доказывать, что это “партийное” мнение было сформулировано главным человеком — главным режиссером советского театра абсурда?

А что же Булгаков? Как он относился к этому человеку? Боялся? Нет. Свидетельство тому — резкие, почти ультимативные строки его писем правительству СССР и лично Сталину. Боготворил? Нет, хотя многие умные, тонкие, все, казалось бы, понимающие писатели и поэты (например, Б. Пастернак, К. Чуковский) боготворили; Булгаков же сочинял о всесильном вожде смешные устные рассказы, весьма далекие от культового преклонения. Но нет сомнений в том, что Булгаков относился к Сталину с большой симпатией. Об этом свидетельствуют и воспоминания близких к писателю людей, и его пьеса “Батум”, написанная — и отнюдь не по заказу, а по велению души — к 50-летию Сталина. И эта симпатия — Диктатора и Мастера — была вопреки расхожему представлению взаимной.

Из письма актеров МХАТа Качалова, Тарасовой и Хмелева секретарю Сталина А. Н. Поскребышеву, 8 февраля 1940 г.

“Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

Простите, что беспокоим Вас этим письмом, но мы не можем не обратиться к Вам в данном случае, считаем это своим долгом. Дело в том, что драматург Михаил Афанасьевич Булгаков этой осенью заболел тяжелой формой гипертонии и почти ослеп. Сейчас в его состоянии наступило резкое ухудшение, и врачи полагают, что дни его сочтены. Он испытывает невероятные физические страдания, страшно истощен и уже не может принимать никакой пищи. Практически развязки можно ожидать буквально со дня на день. Медицина оказывается явно бессильной, и лечащие врачи не скрывают этого от семьи. Единственное, что, по их мнению, могло бы дать надежду на спасение Булгакова — это сильнейшее радостное потрясение, которое дало бы ему новые силы для борьбы с болезнью, вернее — заставило бы его захотеть жить, — чтобы работать, творить, увидеть свои будущие произведения на сцене.

Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычайной чуткости к нему, его поддержке. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону десять лет тому назад, разговоре, вдохнувшем тогда в него новые силы. Видя его умирающим, мы — друзья Булгакова — не можем не рассказать Вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдете возможным сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу”.

Из воспоминаний С. А. Ермолиного:

“На следующее утро — а может быть, в тот же день (9 марта 1940 г. — В. С.), времямести-лось в моей памяти, — позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Трубку молча положили”.

Взаимоотношения власти и настоящего художника непросты всегда, при всех режимах, тем более — при тоталитаризме. Писательская судьба Булгакова не была исключением. Но не будем забывать о том, что лучшие пьесы великого драматурга были поставлены при его жизни, он знал успех, славу и претерпел столь же нужные творческому человеку разочарования и катастрофы. Да, многое осталось в столе. Но ведь все это было написано и как написано!

Всеголов Сахаров, доктор филологических наук.